

Максим Горький

Русские сказки



Максим Горький

Русские сказки

«Public Domain»

1912

Горький М. А.

Русские сказки / М. А. Горький — «Public Domain», 1912

Сатира «Русские сказки» – одно из лучших произведений М. Горького, в которых он остроумно разоблачил черносотенство, шовинизм, декадентство и либерализм.

© Горький М. А., 1912

© Public Domain, 1912

Содержание

I	5
II	7
III	9
IV	18
V	20
VI	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Максим Горький

Русские сказки

I

Будучи некрасив и зная это, молодой человек сказал себе:

– Я умен. Сделаюсь мудрецом. У нас это – очень просто.

И стал читать толстые сочинения – он был действительно не глуп, понимал, что наличие мудрости всего легче доказать цитатами из книг.

А прочитав столько мудрых книг, сколько нужно, чтобы стать близоруким, он гордо поднял нос, покрасневший от тяжести очков, и заявил всему существующему:

– Ну, нет, меня не обманешь! Я ведь вижу, что жизнь – это ловушка, поставленная для меня природой!

– А – любовь? – спросил Дух жизни.

– Благодарю, я, слава богу, не поэт! Я не войду ради кусочка сыра в железную клетку неизбежных обязанностей!

Но все-таки он был человек не особенно даровитый и потому решил взять должность профессора философии.

Приходит к министру народного просвещения и говорит:

– Ваше высокопревосходительство, вот – я могу проповедовать, что жизнь бессмысленна и что внушениям природы не следует подчиняться!

Министр задумался: «Годится это или нет?»

Потом спросил:

– А велениям начальства надо подчиняться?

– Обязательно – надо! – сказал философ, почтительно склонив вытертую книгами голову. – Ибо страсти человечьи...

– Ну, то-то! Лезьте на кафедру. Жалованья – шестнадцать рублей. Только – если я предпишу принять к руководству даже и законы природы, смотрите – без вольнодумства! Не потерплю!

И, подумав, он меланхолически сказал:

– Мы живем в такое время, что ради интересов целостности государства, может быть, и законы природы придется признать не только существующими, но и Болезными – отчасти!

«Чёрта с два! – мысленно воскликнул философ. – Дойдете вы до этого, как же...»

А вслух – ничего не сказал.

Бот он и устроился: еженедельно влезал на кафедру и по часу говорил разным кудрявым юношам:

– Милостивые государи! Человек ограничен извне, ограничен изнутри, природа ему враждебна, женщина – слепое орудие природы, и по всему этому жизнь наша совершенно бессмысленна!

Он привык думать так и часто, увлекаясь, говорил красиво, искренно; юные студентки восторженно хлопали ему. а он, довольный, ласково кивал им лысой головой, умиленно блеснул его красненький носик, и всё шло очень хорошо.

Обеды в ресторанах были вредны ему, – как все пессимисты, он страдал несварением желудка, – поэтому он женился, двадцать девять лет обедал дома; между делом, незаметно для себя, произвел четверых детей, а после этого – помер.

За гробом его почтительно и печально шли три дочери с молодыми мужьями и сын, поэт, влюбленный во всех красивых женщин мира. Студенты пели «Вечную память» – пели

очень громко и весело, но – плохо; над могилой товарищи профессора говорили цветистые речи о том, как стройна была покойникова метафизика; всё было вполне прилично, торжественно и даже минутами трогательно.

– Вот и помер старикашка! – сказал один студент товарищам, когда расходились с кладбища.

– Пессимист он был, – отозвался другой.

А третий спросил:

– Ну? Разве?

– Пессимист и консерватор.

– Ишь, лысый! А я и не заметил...

Четвертый студент был человек бедный, он озабоченно осведомился:

– Позовут нас на поминки?

Да, их позвали.

Так как покойный профессор написал при жизни хорошие книги, в которых горячо и красиво доказывал бессмысленность жизни, – книги покупались хорошо, и читали их с удовольствием – ведь что ни говорите, а человек любит красивое!

Семья была хорошо обеспечена – и пессимизм может обеспечить! – поминки были устроены богатые, бедный студент на редкость хорошо покушал и, когда шел домой, то думал, добродушно улыбаясь:

«Нет – и пессимизм полезен...»

II

А еще был такой случай.
Некто, считая себя поэтом, писал стихи, но – почему-то всё плохие, и это очень сердило его.

Вот однажды идет он по улице и видит: валяется на дороге кнут – извозчик потерял. Осенило поэта вдохновение, и тотчас же в уме его сложился образ:

Как черный бич, в пыли дорожной
Лежит – раздавлен – труп змеи.
Над ним – рой мух гудит тревожно,
Вокруг – жуки и муравьи.

Белеют гонких ребер звенья
Сквозь прорванную чешую...
Змея! Ты мне напоминаешь
Любовь издохшую мою...

А кнут встал на конец кнутовища и говорит, качаясь:
– Ну, зачем врешь? Женатый человек, грамоту знаешь, а – врешь! Ведь не издыхала твоя любовь, жену ты и любишь и боишься ее...

Поэт рассердился:

– Это не твое дело!..

– И стихи скверные...

– А тебе и таких не выдумать! Только свистеть можешь, да и то не сам.

– А все-таки зачем врешь? Ведь не издыхала любовь-то?

– Мало ли чего не было, а нужно, чтоб было...

– Ой, побьет тебя жена! Отнеси-ка ты меня к ней...

– Как же, дожидайся!

– Ну, бог с тобой! – сказал кнут, свиваясь штопором, лег на дороге и задумался о людях, а поэт пошел в трактир, спросил бутылку пива и тоже стал размышлять, но – о себе:

«Хотя кнут и – дрянь, но стихи опять плоховаты, это верно! Странное дело! Один пишет всегда плохие стихи, а другому иной раз удаются хорошие – до чего всё неправильно в этом мире! Дурацкий мир!»

Так он сидел, пил и, всё более углубляясь в познание мира, пришел, наконец, к твердому решению: «Надо говорить правду: совершенно никуда не годится этот мир, и человеку в нем даже обидно жить!» Часа полтора думал он в этом направлении, а потом сочинил:

Пестрый бич наших страстных желаний
Гонит нас в кольца Смерти-Змеи,¹
Мы плутаем в глубоком ту
Ах – убьемте желанья своп!

Они в даль пас обманно манят,
Мы влачимся сквозь терн обид,

¹ Образ пародиен по отношению к нескольким стихотворениям Ф. Сологуба: «В недостижимом чертоге», «Злая ведьма чашу яда», «Безжизненный чертог» и т. п.

По пути – сердце скорби нам ранят,
А в конце его – каждый убит..

И прочее в этом духе – двадцать восемь строк.

– Вот это – ловко! – воскликнул поэт и пошел домой, очень довольный собою.

Дома он прочитал стихи жене – ей тоже понравилось.

– Только, – сказала она, – первое четверостишие как будто не того...

– Сожрут! Пушкин начал тоже «не того»... Зато – размер каков? Панихида!

Потом он стал играть со своим сынишкой: посадив его на колени и подкидывая, пел тенорком:

Скок-поскок
На чужой мосток!
Эх, буду я богат —
Я свой намошу,
Никого не пущу!

Очень весело провели вечер, а утром поэт снес стихи редактору, и редактор сказал глубокомысленно – они все глубокомысленны, редактора, оттого-то журналы и скучны.

– Гм? – сказал редактор, трогая себя за нос – Это, знаете, не плохо, а главное, – очень в тон настроению времени, очень! М-да, вот вы, пожалуй, и нашли себя. Ну-с, продолжайте в том же духе... Шестнадцать копеек строка... четыре сорок восемь... Поздравляю!

Потом стихи были напечатаны, и поэт почувствовал себя именинником, а жена усердно целовала его, томно говоря:

– М-мой поэт, о-о...

Славно время провели!

А один юноша – очень хороший юноша, мучительно искавший смысла жизни, – прочитал эти стихи и застрелился.

Он, видите ли, был уверен, что автор стихов, прежде чем отвергнуть жизнь, искал смысла в ней так же долго и мучительно, как искал сам он, юноша, и он не знал, что эти мрачные мысли продаются по шестнадцати копеек строка. Серьезный был.

Да не помыслит читатель, что я хочу сказать, будто бы порою даже кнут может быть употреблен с пользою для людей.

III

Долго жил Евстигней Закивакин в тихой скромности, в робкой зависти и вдруг неожиданно прославился.

А случилось это так: однажды после роскошной пирушки он истратил последние свои шесть гривен и, проснувшись наутро в тяжком похмелье, весьма удрученный, сел за свою привычную работу: сочинять объявления в стихах для «Анонимного бюро похоронных процессий».

Сел и, пролив обильный пот, убедительно написал:

Быют тебя по шее или в лоб, —
Всё равно, ты ляжешь в темный гроб...
Честный человек ты иль прохвост, —
Все-таки отташат на погост...
Правду ли ты скажешь иль соврешь, —
Это всё едино: ты умрешь!..

И так далее в этом роде, аршина полтора.

Понес работу в «бюро», а там не принимают:

— Извините, — говорят, — это никак нельзя напечатать: многие покойники могут обидеться и даже содрогнуться в гробах. Живых же увещевать к смерти не стоит, — они и сами собою, бог даст, помрут...

Огорчился Закивакин:

— Чёрт бы вас побрал! О покойниках заботитесь, монументы ставите, панихиды служите, а живой — помирай с голоду...

Б гибельном настроении духа ходит он по улицам и вдруг видит — вывеска, а на ней — черными буквами по белому полю — сказано:

— Еще похоронное бюро, а я и не знал! — обрадовался Евстигней.

Но оказалось, что это не бюро, а редакция нового беспартийного и прогрессивного журнала для юношества и самообразования.² Закивакина ласково принял сам редактор-издатель Мокей Говорухин, сын знаменитого салотопы и мыловара Антипы Говорухина,³ парень жизнедеятельный, хотя и худосочный.

Посмотрел Мокей стишки, — одобрил:

— Ваши, — говорит, — вдохновения как раз то самое, еще никем не сказанное слово новой поэзии, в поиски за которым я и снаряжился, подобно аргонавту Герострату...⁴

Конечно, всё это он врал по внушению странствующего критика Лазаря Сыворотки, который тоже всегда врал, чем и создал себе громкое имя.

Смотрит Мокей на Евстигнея покупающими глазами и повторяет:

² К 1912 г. «беспартийный прогрессизм» вошел в «моду» среди буржуазной интеллигенции. Многие вновь возникавшие издания («День», «Русская молва», «Голос земли», «Газета чиновника», журнал «Запросы жизни») объявляли себя «беспартийными и прогрессивными органами». Большевистская «Звезда» неоднократно высмеивала беспринципность «беспартийных чудачков». В статье «Либерализм и демократия» Ленин заметил: «Попытки или потуги обнять разные классы „одной партией“ свойственны как раз буржуазному демократизму...» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, стр. 243).

³ Сатирический намек на зависимость от буржуазного «денежного мешка» многих органов печати, издававшихся в начале XX века. В частности, имеются в виду меценаты П. П. Рябушинский и С. И. Мамонтов, на средства которых издавались журналы «Золотое руно» и «Мир искусства».

⁴ Комический эффект создается сочетанием несоединимых образов: аргонавты — герои древнегреческого эпоса, отправившиеся в трудное и опасное путешествие; Герострат — честолюбец, пожелавший оставить о себе намять в веках сожжением единственного в своем роде великолепного храма Артемиды Эфесской (356 г. до н. э.).

– Материальчик впору нам, но имейте в виду, что мы стихов даром не печатаем!

– Я и хочу, чтобы мне заплатили, – сознался Евстигнейка.

– Ва-ам? За стихи-то? Шутите! – смеется Мокей. – Мы, сударь, только третьего дня вывеску повесили, а уж за это время стихов нам прислано семьдесят девять сажен! И все именами подписаны!

Но Евстигней не уступает, и согласился на пятаке за строку.

– Только потому, что уж очень это у вас здорово пущено! – объяснил Мокей. – Надо бы псевдонимец вам избрать, а то Закивакин не вполне отлично. Вот ежели бы... например, – Смертяшкин, а? Стильно!

– Всё равно, – сказал Евстигней. – Мне – абы гонорар получить: есть очень хочется...

Он был парень простодушный.

И через некоторое время стихи были напечатаны на первой странице первой книги журнала, под заголовком: «Голос вечной правды».

С того дня и постигла Евстигнейку слава: прочитали жители стихи его – обрадовались:

– Верно написал, материн сын! А мы живем, стараемся кое-как, то да се, и незаметно нам было, что в жизни-то нашей никакого смысла, между прочим, нет! Молодец Смертяшкин!

И стали его на вечера приглашать, на свадьбы, на похороны да на поминки, а стихи его во всех модных журналах печатаются по полтине строка, и уже на литературных вечерах полногрудые дамы, очаровательно улыбаясь, читают «поэзы Смертяшкина»:

Нас ежедневно жизнь разит,
Нам отовсюду смерть грозит!
Со всяких точек зрения
Мы только жертвы тления!

– Браво-о! Спасибо-о! – кричат жители.

«А ведь, пожалуй, я и в самом деле поэт?» – задумался Евстигнейка и начал – понемножку – зазнаваться: завел черно-пестрые носки и галстуки, брюки надел тоже черные с белой полоской поперек и стал говорить томно, разводя глазами в разные стороны:

– Ах, как это пошло-жизненно!

Заупокойную литургию прочитал и употребляет в речи мрачные слова: паки, дондеже, всеу...

Ходят вокруг его разные критики, истощая Евстигнейкин гонорарий, и внушают ему:

– Углубляйся, Евстигней, а мы поддержим!

И действительно, когда вышла книжка: «Некрологи желаний, поэзы Евстигнея Смертяшкина», то критики весьма благосклонно отметили глубокую могильность настроений автора. Евстигнейка же на радостях решил жениться: пошел к знакомой модерн-девице Нимфодоре Завалашкиной и сказал ей:

– О, безобразна, бесславна, не имущая вида!

Она давно ожидала этого и, упав на грудь его, воркует, разлагаясь от счастья:

– Я согласна идти к смерти рука об руку с тобою!

– Обреченная уничтожению! – воскликнул Евстигней.

Нимфодора же, смертельно раненная страстью, отзывается:

– Мой бесследно исчезающий!

Но тотчас, вполне возвратясь к жизни, предложила:

– Мы обязательно должны устроить стильный быт!

Смертяшкин уже ко многому привык и сразу понял.

– Я, – говорит, – конечно, недостижимо выше всех предрассудков, но, если хочешь, давай обвенчаемся в кладбищенской церкви!

– Хочу ли? О да! И путь все шафера тотчас после свадьбы застрелятся!

– Все, пожалуй, не пойдут на это, а Кукин может, – он уже семь раз стрелялся.

– И чтобы священник был старенький, знаешь, такой... накануне смерти.

Так, стильно мечтая, они сидели до той поры, пока из холодной могилы пространства, где погребены мириады погасших солнц и в мертвой пляске кружатся замороженные планеты, – пока в этой пустыне бездонного кладбища усопших миров не появился скорбный лик луны, угрюмо осветив землю, пожирающую всё живое... Ах, это жуткое сияние умершей луны, подобное свечению гнилушек, всегда напоминает чутким сердцам, что смысл бытия – тление, тление...

Смертяшкин настолько воодушевился, что даже без особого труда стихи сочинил и прошептал их черным шёпотом в ухо будущему скелету возлюбленной:

Чу, смерть стучит рукою честной
По крышке гроба, точно в бубен!..
Я слышу зов ее так ясно
Сквозь пошлый хаос скучных буден.

Жизнь спорит с нею, – лживым кличем
Зовёт людей к своим обманам;
Но мы с тобой не увеличим
Числа рабов, плененных ею!

Нас не подкупишь ложью сладкой,
Ведь знаем мы с тобою оба.
Жизнь – только миг, больной и краткий,
А смысл ее – под крышкой гроба!

– Как мертво! – восхищалась Нимфодора, – Как тупо-могильно!

Она все эти штуки превосходно понимала.

На сороковой день после этого они венчались у Николы на Тычке,⁵ в старенькой церкви, тесно окруженной самодовольными могилами переполненного кладбища. Ради стиля свидетелями брака подписались два могильщика, шаферами были заведомые кандидаты в самоубийцы; в подруги невеста выбрала трех истеричек, из которых одна уже вкушала уксусную эссенцию, другие готовились к этому и одна дала честное слово покончить с собой на девятый день после свадьбы.

А когда вышли на паперть, шафер, прыщеватый парень, изучавший на себе действие сальварсана, открыв дверь кареты, мрачно сказал:

– Вот катафалк!

Новобрачная, в белом платье с черными лентами и под черной фатой, умирала от восторга, а Смертяшкин, влажными глазами оглядывая публику, спрашивал шафера:

– Репортеры есть?

– И фотограф...

– Не шевелись, Нимфочка...

⁵ Церковь Николы Чудотворца в Москве у Красного пруда: название Тычок произошло от старинного питейного дома, находившегося тут же.

Репортеры, из уважения к поэту, оделись факельщиками, а фотограф – палачом, жители же, – им все равно, на что смотреть, было бы забавно! – жители одобряли:

– Quel chic!⁶

И даже какой-то вечно голодающий мужичок согласился с ними:

– Charmant!⁷

– Да-а, – говорил Смертяшкин новобрачной за ужином в ресторане против кладбища, – мы прекрасно похоронили нашу юность! Вот именно это и называется победой над жизнью!

– Ты помнишь, что это всё мои идеи? – спросила нежно Нимфодора.

– Твои? Разве?

– Конечно.

– Ну... всё равно:

Я и ты – одна душа и тело!

Мы с тобой теперь навеки слиты.

Это смерть так мудро повелела,

Мы – ее рабы и сателлиты...

– Но все-таки я не позволю тебе поглотить мою индивидуальность! – очаровательно предупредила она. – И потом, сателлиты, я думаю, надо произносить два «т» и два «л»! Впрочем, сателлиты вообще кажутся мне не на месте...

Смертяшкин еще раз попробовал одолеть ее стихами:

Что такое наше «я»,

Смертная моя?

Нет его иль есть оно, —

Это всё равно!

Будь активна, будь инертна, —

Всё равно, – ты не бессмертна!

– Нет, уж это надобно оставить для других, – кротко сказала она.

После длинного ряда таких и подобных столкновений у Смертяшкина случайно родилось дитя – девочка, и Нимфодора повелела:

– Люльку закажи в форме гробика!

– Не слишком ли это, Нимфочка?

– Нет уж, пожалуйста! Стиль надо сохранять строго, если ты не хочешь, чтобы критики и публика упрекнули тебя в раздвоении и неискренности...

Она оказалась очень хозяйственной дамой: сама солила огурцы, тщательно собирала все рецензии о стихах мужа и, уничтожая неодобрительные, – похвальные издавала отдельными томиками за счет поклонников поэта.

С хорошей пищи стала она женщиной дородной, глаза ее всегда туманились мечтой, возбуждая в людях мужского пола страстное желание подчиниться року. Завела домашнего критика, жилистого мужчину, рыжего цвета, сажала его рядом с собою, и, вонзая туманный взгляд прямо в сердце ему, читала нарочито гнусаво стихи мужа, убежденно спрашивая:

– Глубоко? Сильно?

⁶ Какой шик! (Франц.).

⁷ Очаровательно! (Франц.).

Тот первое время только мычал, а потом стал ежемесячно писать пламенные статьи о Смертяшкине, который «с непостижимой углубленностью»⁸ проник в бездонность той черной тайны, которую мы, жалкие, зовем Смертью. а он – полюбил чистой любовью прозрачного ребенка. Его янтарная душа не отемнилась познанием ужаса бесцельности бытия, но претворила этот ужас в тихую радость, в сладостный призыв к уничтожению той непрерывной пошлости, которую мы, слепые души, именуем Жизнью».

При благосклонной помощи рыжего, – по убеждениям он был мистик и эстет, по фамилии – Прохарчук, по профессии – парикмахер, – Нимфодора довела Евстигнейку до публичного чтения стихов: выйдет он на эстраду, развернет коленки направо-налево, смотрит на жителей белыми овечьими глазами и, покачивая угловатой головою, на которой росли разные разности мочального цвета, безучастно вещает:

В жизни мы – как будто на вокзале,
Пред отъездом в темный мир загробный...
Чем вы меньше чемоданов взяли,
Тем для вас и легче и удобней!

Будем жить бессмысленно и просто!
Будь пустым, тогда и будешь чистым.
Краток путь от люльки до погоста!
Служит Смерть для жизни машинистом!..

– Браво-о! – кричат вполне удовлетворенные жители. – Спасибо-о!

И говорят друг другу:

– Ловко, шельма, доказывает, даром что этакий обсосанный!..

Те же, кому ведомо было, что раньше Смертяшкин работал стихи для «Анонимного бюро похоронных процессий», были, конечно, и теперь уверены, что он все свои песни поет для рекламы «бюро», но, будучи ко всему одинаково равнодушны, молчали, твердо памятуя одно:

«Каждому жрать надо!»

«А может, я и в самом деле – гений! – думал Смертяшкин, слушая одобрительный рев жителей. – Ведь никто не знает, что такое гений; некоторые утверждали же, будто гении – полоумные...»⁹ А если так...»

И при встрече со знакомыми стал спрашивать их не о здоровье, а:

– Когда умрете?

Чем и приобрел еще большую популярность среди жителей.

А жена устроила гостиную в виде склепа: диванчики поставила зелененькие, в стиле могильных холмиков, а на стенах развесила снимки с Гойя, с Калло¹⁰ да еще и – Вюртц!¹¹

Хвастается:

⁸ Горький высмеивал стиль панегирических статей о Ф. Сологубе, и частности, статьи С. Городецкого «На светлом пути», А. Измайлова «Чарования красных вымыслов», А. Белого «Истлевающие личины». Так, А. Белый писал: «Он певец смерти: но он поспевает смерть всю нежностью молитвы, всем жаром страсти; он говорит о смерти, как страстно влюбленный о возлюбленной» (сб. «О Федоре Сологубе. Критика. Статьи В заметки». СПб., 1911, стр. 96).

⁹ Имеется в виду учение итальянского психиатра Чезаре Ломброзо (1835–1909) (см.: Ч. Ломброзо. Гениальность и помешательство. Параллель между великими людьми и помешанными. СПб., изд. Ф. Павленкова, 1892). Идеи Ломброзо, направленные к дискредитации человеческого разума, пользовались популярностью среди декадентов.

¹⁰ Калло Жак (1592–1635) – французский гравер и рисовальщик. Наибольшей известностью в России начала XX в. пользовались две серии его картин «Бедствия войны».

¹¹ Вюртц – вероятно, немецкий художник Германн Вюрц (Würz) (1836–1899).

– У нас даже в детской веяние Смерти ощутимо: дети спят в гробиках, няня одета схимницей, – знаете, такой черный сарафан, с вышивками белым – черепа, кости и прочее, очень интересно! Евстигней, покажи дамам детскую! А мы, господа, пойдемте в спальню...

И, обаятельно улыбаясь, показывала убранство спальни: над кроватью саркофагом – черный балдахин с серебряной бахромой; поддерживали его выточенные из дуба черепа; орнамент – маленькие скелетики нежно играют могильными червяками.

– Евстигней, – объясняла она, – так поглощен своей идеей, что даже спит в саване...

Некоторые жители изумлялись:

– Спи-ит?

Она печально улыбалась.

А Евстигнейка был в душе парень честный и порою невольно думал:

«Уж если я – гений, то – что же уж? Критика пишет о влиянии, о школе Смертяшкина, а я... не верю я в это!»

Приходил Прохарчук, разминая мускулы, смотрел на него и спрашивал басом:

– Писал? Ты, брат, пиши больше. Остальное мы с твоей женой живо сделаем... Она у тебя хорошая женщина, и я ее люблю...

Смертяшкин и сам давно видел это, но по недостатку времени и любви к покою ничего не предпринимал против.

А то сядет Прохарчук в кресло поудобнее и рассказывает обстоятельно:

– Знал бы ты, брат, сколько у меня мозолей и какие! У самого Наполеона не было таких...

– Бедный мой! – вздыхала Нимфодора, а Смертяшкин пил кофе и думал:

«Как это правильно сказано, что для женщин и лакеев нет великих людей!»

Конечно, он, как всякий мужчина, был неправ в суждении о своей жене, – она весьма усердно возбуждала его энергию:

– Стегнышко! – любовно говорила она. – Ты, кажется, и вчера ничего не писал? Ты всё чаще манкируешь талантом, милый! Иди, поработай, а я пришлю тебе кофе...

Он шел, садился к столу и неожиданно сочинял совершенно новые стихи:

Сколько пошлости и вздора
Написал я, Нимфодора.
Ради тряпок, ради шубок,
Ради шляпок, кружев, юбок!

Это его пугало, и он напоминал себе:

«Дети!»

Детей было трое. Их надо было одевать в черный бархат; каждый день, в десять часов утра, к крыльцу подавали изящный катафалк, и они ехали гулять на кладбище, – всё это требовало денег.

И Смертяшкин уныло выводил строка за строкой:

Всюду жирный трупный запах
Смерть над миром пролила.
Жизнь в ее костлявых лапах,
Как овца в когтях орла.

– Видишь ли что, Стегнышко, – любовно говорила Нимфодора. – Это не совсем... как тебе сказать? Как надо сказать, Маша?

– Это – не твое, Евстигней! – говорил Прохарчук басом и с полным знанием дела. – Ты – автор «Гимнов смерти», и пиши гимны...

– Но это же новый этап моих переживаний! – возражал Смертяшкин.

– Ну, милый, ну, какие переживания? – убеждала жена. – Надобно в Ялту ехать, а ты чудишь!

– Помни, – гробовым тоном внушал Прохарчук, – что ты обещал

Прославить смерти власть
Беззлобно и покорно...¹²

– А потом обрати внимание: «как овца в» невольно напоминает фамилию министра – Коковцев,¹³ и это может быть принято за политическую выходку! Публика глупа, политика – пошлость!

– Ну, ладно, не буду, – говорил Евстигней, – не буду! Всё едино, – ерунда!

– Имей в виду, что твои стихи за последнее время вызывают недоумение не у одной твоей жены! – предупреждал Прохарчук.

Однажды Смертяшкин, глядя, как его пятилетняя дочурка Лиза гуляет в саду, написал:

Маленькая девочка ходит среди сада,
Беленькая ручка дерзко рвет цветы...
Маленькая девочка, рвать цветы не надо,
Ведь они такие же хорошие, как ты!

Маленькая девочка! Черная, немая,
За тобою следом тихо смерть идет,
Ты к земле наклонишься, – косу поднимая,
Смерть оскалит зубы и – смеется, ждет...

Маленькая девочка! Смерть и ты – как сестры;
Ты ненужно губишь яркие цветы,
А она косою острой, вечно острой! —
Убивает деток, вот таких, как ты...

– Но это же сентиментально, Евстигней, – негодуя, крикнула Нимфодора. – Помилуй, куда ты идешь? Что ты делаешь с своим талантом?

– Не хочу я больше, – мрачно заявил Смертяшкин.

– Чего не хочешь?

– Этого. Смерть, смерть, – довольно! Мне противно слово самое!

– Извини меня, но ты – дурак!

– Пускай! Никому не известно, что такое гений! А я больше не могу... К чёрту могильность и всё это... Я – человек...

– Ах, вот как? – иронически воскликнула Нимфодора. – Ты – только человек?

– Да. И люблю всё живое...

– Но современная критика доказала, что поэт не должен считаться с жизнью и вообще с пошлостью!

¹² См. в стихотворении Ф. Сологуба «Венком из руты увенчали...» – «И смерть бесстрастно я прославлю» (Собр. соч. Ф. Сологуба, т. V. СПб., 1910, стр. 159).

¹³ В. П. Коковцев (1853–1943) – реакционный государственный деятель, с 1904 по 1914 г. – министр финансов, с 1911 г. – одновременно председатель совета министров.

– Критика? – заорал Смертяшкин. – Молчи, бесстыдная женщина! Я видел, как современная критика целовала тебя за шкафом!

– Это от восхищения твоими же стихами!

– А дети у нас рыжие, – тоже от восхищения?

– Пошляк! Это может быть результатом чисто интеллектуального влияния!

И вдруг, упав в кресло, заявила:

– Ах, я не могу больше жить с тобой!

Евстигнейка и обрадовался и в то же время испугался.

– Не можешь? – с надеждой и со страхом спросил он. – А дети?

– Пополам!

– Троих-то?

Но она стояла на своем. Потом пришел Прохарчук. Узнав, в чем дело, он огорчился и сказал Евстигнейке:

– Я думал, ты – большой человек, а ты – просто маленький мужчина!

И пошел собирать Нимфодорины шляпки. А пока он мрачно занялся этим, она говорила мужу правду:

– Ты выдохся, жалкий человек. У тебя нет больше ни таланта, ничего! Слышишь: ничего-го!

Захлебнулась пафосом честного негодования и dokonчила:

– У тебя и не было ничего никогда! Если бы не я и Прохарчук – ты так всю жизнь и писал бы объявления в стихах, слизняк! Негодяй, похититель юности и красоты моей...

Она всегда в моменты возбуждения становилась красноречива.

Так и ушла она, а вскоре, под руководством и при фактическом участии Прохарчука, открыла «Институт красоты мадам Жизни из Парижа. Специальность – коренное уничтожение мозолей».

Прохарчук же, разумеется, напечатал разносную статью «Мрачный мираж», обстоятельно доказав, что у Евстигнея не только не было таланта, но что вообще можно сомневаться, существовал ли таковой поэт. Если же существовал и публика признавала его, то это – вина торопливой, неосторожной и неосмотрительной критики.

А Евстигнейка потосковал, потосковал, и – русский человек быстро утешается! – видит: детей кормить надо!

Махнул рукой на прошлое, на всю смертельную поэзию, да и занялся старым, знакомым делом: веселые объявления для «Нового похоронного бюро» пишет, убеждая жителей:

Долго, сладостно и ярко
На земле мы любим жить,
Но придет однажды Парка
И обрежет жизни нить!

Обсудивши этот случай,
Не спеша, со всех сторон,
Предлагаем самый лучший
Материал для похорон!

Всё у нас вполне блестяще,
Не истерто, не старо:
Заходите же почаще
В наше «Новое бюро»!
Могильная, 15

Так все и возвратились на стези своя¹⁴

¹⁴ Перефразировка библейского текста: «Возвращается ветер на круги своя» (Книга Екклесиаста, гл. 1, стих 6).

IV

Жил-был честолюбивый писатель.

Когда его ругали – ему казалось, что ругают чрезмерно и несправедливо, а когда хвалили – он думал, что хвалят мало и неумно, и так, в постоянных неудовольствиях, дожил он до поры, когда надобно было ему умирать.

Лег писатель в постель и стал ругаться:

– Ну вот – не угодно ли? Два романа не написаны... да и вообще материала еще лет на десять. Чёрт бы побрал этот закон природы и все прочие вместе с ним! Экая глупость! Хорошие романы могли быть. И придумали же такую идиотскую всеобщую повинность. Как будто нельзя иначе! И ведь всегда не вовремя приходит это – повесть не кончена...

Он – сердится, а болезни сверлят ему кости и нашептывают в уши:

– Ты – трепетал, ага? Зачем трепетал? Ты ночей не спал, ага? Зачем не спал? Ты – с горя пил, ага? А с радости – тоже?

Он морщился, морщился, наконец видит – делать нечего! Махнул рукой на все свои романы и – помер. Очень неприятно было, а – помер.

Хорошо. Обмыли его, одели приличненько, гладко причесали, положили на стол; вытянулся он, как солдат, – пятки вместе, носки врозь, – нос опустил, лежит смиренно, ничего не чувствует, только удивляется:

«Как странно – совсем ничего не чувствую! Это первый раз в жизни. Жена плачет. Ладно, теперь – плачешь, а бывало, чуть что – на стену лезла. Сынишка хнычет. Наверное, бездельником будет, – дети писателей всегда бездельники, сколько я их ни видал... Тоже, должно быть, какой-нибудь закон природы. Сколько их, законов этих!»

Так он лежал и думал, и думал, и всё удивлялся своему равнодушию – не привык к этому.

И вот – понесли его на кладбище, но вдруг он чувствует: народу за гробом мало идет.

«Нет, уж это дудки! – сказал он сам себе. – Хоть я писатель и маленький, а литературу надобно уважать!»

Выглянул из гроба – действительно: провожают его – не считая родных – девять человек, в том числе двое нищих и фонарщик, с лестницей на плече.

Ну, тут он совсем вознегодовал:

«Экие свиньи!»

И до того воодушевился обидой, что немедленно воскрес, незаметно выскочил из гроба, – человек он был небольшой, – забежал в парикмахерскую, сбрил усы и бороду, взял у парикмахера черненький пиджачок, с заплатой под мышкой, свой костюм ему оставил, сделал себе почтительно огорченное лицо и стал совсем как живой – узнать нельзя!

И даже, по любопытству, свойственному роду его занятий, спросил парикмахера:

– Не удивляет вас этот странный случай?

Тот только усы свои снисходительно поправил.

– Помилуйте-с, – говорит, – мы в России живем и вполне ко всему привыкли...

– Все-таки – покойник и вдруг переодевается...

– Мода времени-с! И какой вы покойник? Только по внешности, а вообще ежели взять, – дай бог всякому! Нынче живые-то куда неподвижнее держатся!

– А не очень я желтоват?

– Вполне в духе эпохи-с, как надо быть! Россия-с – всем желтенько живется...

Известно, что парикмахеры – первые лъстецы и самый любезный народ на земле.

Простился с ним писатель и побежал догонять гроб, движимый живым желанием выразить в последний раз свое уважение к литературе; догнал – стало провожатых десятеро, увеличился писателю почет. Встречный народ удивляется:

– Глядите-ка, как писателя-то хоронят, ай-яй!

А понимающие люди, проходя по своим делам, не без гордости думают:

«Заметно, что значение литературы всё глубже понимается страною!»

Идет писатель за своим гробом, будто поклонник литературы и друг умершего, беседует с фонащиком.

– Знали покойника?

– Как же! Кое-чем попользовался от него.

– Приятно слышать!

– Да. Наше дело – дешевое, воробьиное дело, где упало, там и клюй!

– Это как надо понять?

– Понимайте просто, господин.

– Просто?

– Ну да. Конечно, ежели смотреть с точек зрения, то – грех, однако – без жульничества никак не проживешь.

– Гм? Вы уверены?

– Обязательно так! Фонарь – как раз супротив его окна, а он каждую ночь до рассвета сживал, ну, я фонаря и не зажигал, потому – свету из его окна вполне достаточно – стало быть, одна лампа – чистый мне доход! Полезный был человек!

Так, мирно беседуя то с тем, то с другим, дошел писатель до кладбища, а там пришлось ему речь говорить о себе, потому что у всех провожатых в тот день зубы болели, – ведь дело было в России, а там у каждого всегда что-нибудь ноет да болит.

Недурную сказал речь, в одной газете его похвалили даже:

«Кто-то от публики, напомнивший нам по внешнему облику человека сцены, произнес над могилой теплую и трогательную речь. Хотя в ней он, на наш взгляд, несомненно переоценил и преувеличил более чем скромные заслуги покойника, писателя старой школы, не употреблявшего усилий отделаться от ее всем надоевших недостатков – наивного дидактизма и пресловутой „гражданственности“, – тем не менее, речь была сказана с чувством несомненной любви к слову».

А когда всё – честь честью – кончилось, писатель лег в домовину и подумал, вполне удовлетворенный:

«Ну, вот и готово, и очень всё хорошо вышло, достойно, как и следует!»

Тут он совсем умер.

Вот как надо уважать свое дело, хотя бы это была и литература!

V

А то – жил-был один барин, прожил он с лишком полжизни и вдруг почувствовал, что чего-то ему не хватает – очень встревожился.

Щупает себя – будто всё цело и на месте, а живот даже в излишке; посмотрит в зеркало – нос, глаза, уши и всё прочее, что полагается иметь серьезному человеку, – есть; пересчитывает пальцы на руках – десять, на ногах – тоже десять, а все-таки чего-то нет!

– Что за оказия?

Спрашивает супругу;

– А как ты думаешь, Митродора, у меня всё в порядке?

Она уверенно говорит:

– Всё!

– А мне иногда кажется...

Как женщина религиозная, она советует:

– Если кажется – прочитай мысленно «Да воскреснет бог и расточатся врази его»...¹⁵

Друзей исподволь пытается о том же, друзья отвечают нечленораздельно, а смотрят – подозрительно, как бы предполагая в нем нечто вполне достойное строгого осуждения.

«Что такое?» – думает барин в унынии.

Стал вспоминать прошлое – как будто всё в порядке: и социалистом был, и молодежь возмущал, а потом ото всего отрекся¹⁶ и давно уже собственные посеы своими же ногами усердно топчет. Вообще – жил как все, сообразно настроению времени и внушениям его.

Думал-думал и вдруг – нашел:

«Господи! Да у меня же национального лица нет!»¹⁷

Бросился к зеркалу – действительно, лицо неясное, вроде слепо и без запятых напечатанной страницы перевода с иностранного языка, причем переводчик был беззаботен и малограмотен, так что совсем нельзя понять, о чем говорит эта страница: не то требует душу свободе народа в дар принести, не то утверждает необходимость полного признания государственности.

«Гм, какая, однако, путаница! – подумал барин и тотчас же решил: – Нет, с таким лицом неудобно жить...»

Начал ежедневно дорогими мылами умываться – не помогает: кожа блестит, а неясность остается. Языком стал облизывать лицо – язык у него был длинный и привешен ловко, журналистикой барин занимался – и язык не приносит ему пользы. Применил японский массаж – шишки вскочили, как после доброй драки, а определенности выражения – нет!

Мучился-мучился, всё без успеха, только весу полтора фунта потерял. И вдруг на счастье свое узнает он, что пристав его участка фон Юденфрессер весьма замечательно отличается пониманием национальных задач, – пошел к нему и говорит:

– Так и так, ваше благородие, не поможете ли в затруднении?

¹⁵ «Да воскреснет бог и расточатся врази его...» – начало торжественного песнопения, совершаемого в день «воскресения» Христа (Псалтырь, псалом 67, стих 2).

¹⁶ Имеется в виду ренегатство буржуазных интеллигентов тина П. Б. Струве (1870–1944), совершившего, по словам Горького, эволюцию «от Герцена к Каткову» (*Архив ГТК*, стр. 135). В феврале 1912 г. Горький писал В. Львову-Рогачевскому: «Следите Вы за „Русской мыслью“ и деяниями Струве? Воистину этот человек – лакей за совесть, и бездарен он, как лакей» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-24-5-9).

¹⁷ В статье «Интеллигенция и национальное лицо» Струве нападал на интернационализм русской социал-демократии, противопоставляя ему национализм и великодержавный шовинизм. Горький пародирует следующее высказывание Струве: «В тяжелых испытаниях последних лет вырастает наше национальное русское чувство, оно преобразилось, усложнилось и утончилось, но в то же время возмужало и окрепло. Не пристало нам хитрить с ним и прятать наше лицо» («Слово», 1909, № 732, 10 марта).

Приставу, конечно, лестно, что вот – образованный человек, недавно еще в нелегальностях подозревался, а ныне – доверчиво советуется, как лицо переменить. Хохочет пристав и, в радости великой, кричит:

– Да ничего же нет проще, милейший вы мой! Браллиант вы мой американский, да потритесь вы об инородца, оно сразу же и выявится, истинное-то ваше лицо...

Тут и барин обрадовался – гора с плеч! – лояльно хихикает и сам на себя удивляется:

– А я-то не догадался, а?

– Пустяки всего дела!

Расстались закадычными друзьями, сейчас же барин побежал на улицу, встал за угол и ждет, а как только увидал мимо идущего еврея, наскочил на него и давай внушать:

– Ежели ты, – говорит, – еврей, то должен быть русским, а ежели не хочешь, то...

А евреи, как известно из всех анекдотов, нация нервная и пугливая, этот же был притом характера капризного и терпеть не мог погромов, – развернулся он да и ударь барина по левой щеке, а сам отправился к своему семейству.

Стоит барин, прислонясь к стенке, потирает щеку и думает:

«Однако выявление национального лица сопряжено с ощущениями не вполне сладостными! Но – пусть! Хотя Некрасов и плохой поэт,¹⁸ всё же он верно сказал:

Даром ничто не дается, – судьба
Жертв искупительных просит...»¹⁹

Вдруг идет кавказец, человек – как это доказано всеми анекдотами – некультурный и пылкий, идет и орет:

– Мицхалэс саклэс мингрулэ-э...²⁰

Барин – на него:

– Нет, – говорит, – позвольте! Ежели вы грузин, то вы – тем самым – русский и должны любить не саклю мингрельца, но то, что вам прикажут, а кутузку – даже без приказанья...

Оставил грузин барина в горизонтальном положении и пошел пить кахетинское, а барин лежит и соображает:

«Од-днако же? Там еще татары, армяне, башкиры, киргизы, мордва, литовцы – господа, сколько! И это – не все... Да потом еще свои, славяне...»

А тут как раз идет украинец и, конечно, поет крамольно:

Добре було нашим батькам
На Вкраини жити...»²¹

– Нет, – сказал барин, поднимаясь на ноги, – вы уж будьте любезны отныне употреблять еры,²² ибо не употребляя оных, вы нарушаете цельность империи...

¹⁸ Горький иронизирует по поводу отношения веховцев к революционным и демократическим традициям русской поэзии XIX в. В феврале 1912 г. он писал Львову-Рогачевскому о кадетском деятеле Ф. И. Родичеве: «Отношение Родичева к Некрасову – это вполне в линии современного стремления к перекраске старых ярких репутаций в новые серенькие – или даже черные цвета» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-24-5-9).

¹⁹ Из стихотворения Н. А. Некрасова «В больнице» (1855).

²⁰ Искаженное грузинское: «Пожалей дом мингрельца!».

²¹ Украинская народная песня. Известна в нескольких вариантах (см.: П. А. Лукашевич. Малороссийские и червонорусские народные думы и песни. СПб., 1836, стр. 80; Б. Д. Гринченко. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, т. III. Чернигов, 1899, стр. 634–635).

²² Горький критикует мысль Струве о необходимости «завоевательного национализма», предполагающего насильственное «приобщение к русской культуре» всех национальностей (см. «Patriotica», стр. 301–303).

Долго он ему говорил разное, а тот всё слушал, ибо – как неопровержимо доказывалось всеми сборниками малороссийских анекдотов – украинцы парод медлительный и любят дело делать не торопясь, а барин был человек весьма прилипчивый...

...Подняли барина сердобольные люди, спрашивают:

– Где живете?

– В Великой России...

Ну, они его, конечно, в участок повезли.

Везут, а он, ощупывая лицо, не без гордости, хотя и с болью, чувствует, что оно значительно уширилось, и думает:

«Кажется, приобрел...»

Представили его фон Юденфрессеру, а тот, будучи ко своим гуманен, послал за полицейским врачом, и, когда пришел врач, стали они изумленно шептаться между собою, да всё фыркают, несоответственно событию.

– Первый случай за всю практику, – шепчет врач. – Не знаю, как и понять...

«Что б это значило?» – думает барин, и спросил:

– Ну, как?

– Старое – всё стерлось, – ответил фон Юденфрессер.

– А вообще лицо – изменилось?

– Несомненно, только, знаете...

Доктор же утешительно говорит:

– Теперь у вас, милостивый государь, такое лицо, что хоть брюки на него надеть...

Таким оно и осталось на всю жизнь.

Морали тут нет.

VI

А другой барин любил оправдывать себя историей – как только захочется ему соврать что-нибудь, он сейчас подходящему человеку и приказывает:

– Егорка, ступай надергай фактов из истории в доказательство того, что она не повторяется, и наоборот...

Егорка – ловкий, живо надергает, барин украсится фактами, сообразно требованиям обстоятельств, и доказывает всё, что ему надобно, и неуязвим.

А был он, между прочим, крамольник – одно время все находили, что нужно быть крамольниками, и друг другу смело указывали:

– У англичан – Хабеас корпус,²³ а у нас – циркуляры!

Очень остроумно издевались над этим различием между нациями.

Укажут и, освободясь от гражданской скорби, сядут, бывало, винтить до третьих петухов, а когда оные возгласят приход утра – барин командует:

– Егорка, дерни что-нибудь духоподъемное и отвечающее моменту!

Егорка встанет в позу и, перст подняв, многозначительно напомнит:

На святой Руси петухи поют —
Скоро будет день на святой Руси!..²⁴

– Верно! – говорят господа. – Обязательно, – должен быть день...

И пойдут отдохнуть.

Хорошо. Но только вдруг народ начал беспокойно волноваться, заметил это барин, спрашивает:

– Егорка – почему народ трепещет?

А тот, с удовольствием, доносит:

– Народ хочет жить по-человечески...

Тут барин возгордился:

– Ага! Это кто ему внушил? Это – я внушил! Пятьдесят лет я и предки мои внушали, что пора нам жить по-человечески, ага?

И начал увлекаться, то и дело гоняет Егорку:

– Надергай фактов из истории аграрного движения в Европе... из Евангелия текстов, насчет равенства... из истории культуры, о происхождении собственности – живо!

²³ Habeas-Corpus-Act, основы английской конституции (1679).

²⁴ Строки «На святой Руси петухи кричат...», вероятно, принадлежат поэту и переводчику Н. В. Бергу (1823–1884) (см. об этом: В. Г. Короленко. Собр. соч., т. 3. М., 1954, стр. 58, 456, а также очерк Горького «В. Г. Короленко» в т. XVI наст. изд.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.